

Книга Григория Князева стала для меня одним из самых приятных и неожиданных открытий. Неужели в эпоху постмодерна, где каждый автор стремится к предельной изощрённости и необычности слога, ещё есть такие поэты – способные чистым, предельно ясным языком объяснять явления высшего порядка?

Однако не будем заблуждаться на сей счёт и вслед за Еленой Крюковой согласимся, что эта поэзия «не так уж проста, как может показаться на первый взгляд». Я бы даже добавила, что она совсем не проста и в основе своей амбивалентна. Пожалуй, это главная черта художественного мышления Григория. Он – «житель небес», пишущий о вполне земных вещах, но под особым углом зрения. Каждый стих – пытливое заглядывание за грань, непрерывный диалог или даже переключка двух миров – «близкого» и «дальнего» голоса, находящихся в разных измерениях, но всё же соположенных друг другу:

*Слышишь, как птицы шифруются-прячутся
В кронах черёмухи, вязов и лип?
Нечто за «фьюи» и «тьюи» их значит,
Если наречие перевели б.
<...>
Мне далеко до Франциска Ассизского.
Целые ночи и дни напролёт
Почта крылатая голоса близкого
Дальнему голосу музыку шлёт.*

Поэт постоянно терзается масштабными вопросами мироздания, продолжая развивать традиции русской классической литературы. В каждом земном объекте и явлении ему видится прообраз «мира горнего». Внезапная смена оптики взгляда – и границы реального исторического пространства начинают плавно перетекать в пространство мифологическое, где время застывает, существуя по иным законам. Преодолев географическое расстояние «между Волгой и Окой», лирический герой Князева мысленно оказывается «посредине Стикса», тайне надеясь, что не сможет забыть того, «чем на земле проникся». В отличие от своих великих предшественников Лермонтова и Тютчева, талантливый уроженец Великого Новгорода хочет примирить внутри себя две ипостаси – низшую, неотделимую от телесной оболочки, и высшую, связанную с существованием в тех сферах, где можно «уловить и шёпот Бога»:

*Мне дано в ощущениях многое –
И земных, и небесных даров.
То тактильно, то мысленно трогаю
Мириады соседних миров.

Я – геном, но над шифрами этими,
Над цепями, к которым я глух,
С бесконечными клетками-клетями –
То, что названо древними «дух»!*

Но иногда мучительные противоречия неизбежны, и в момент осознания трагического несоответствия земного пути высшему предназначению у поэта рождается тема двойничества. Мир лирического героя распадается на две половины: в одной жизнь – не более чем биографическая схема, в другой – высший замысел творца. Для процесса самоидентификации крайне важно распознать свой подлинный голос среди «великой разноголосицы» ложных и временных голосов:

*Что знаю о себе, и надо ли,
Две бездны – жизнь и смерть – тая,
Куда слова и сны попадали,
Встречаться мне с моим же «я»?
<...>*

*Касаясь своего предлечья,
Свои же кудри теребя,
Что если никогда не встречу я
И не услышу сам себя?*

Автора этих строк пугает перспектива «шагнуть в небывтие», «в чёрный вакуум», не оставив о себе никакой памяти, не продлив свет стихотворной строкой, оставшись зверем в темноте квартирной норы. Но вопреки тревожным предчувствиям, книга полна проблесков надежды, веры в то, что «*Всё творится и всё творимо, / Всё друг друга тайно творит. / Повторится неповторимо / И себя во всё повторит!*». Надежда рождается от непрерывного ощущения своей причастности вечному, от осознания своего места в общей картине мироздания, «в цепочке следов», которые есть связь между поколениями. Тема смерти логически преобразуется в тему памяти о предках, и близких и далёких. Нередко упоминаемое в стихах Григория Князева кладбище становится особым пограничным пространством, где уживаются сразу все времена и отчётливее слышен голос истории, начиная с её самого раннего, ветхозаветного, периода:

*Чистим наши могилки
С мамой каждой весной.
Вот к прабабке развилка,
Дальше – дедушка Ной.*

*За табличкой – табличка,
И приходит на ум
Всех имён переключки:
Я – Натан, я – Наум...*

Только в этой «переключке» отдалённо родственных друг другу голосов, в преемственности эпох и поколений – залог бессмертия. Поэтому лирический герой Князева, пусть даже с некоторой долей осторожности, с неизбежным ощущением тревоги, оставаясь один на один со своими собственными шагами, всё же продолжает обживать родственную Блоку урбанистическую территорию с неизменным фонарём, аптекой и ночной улицей. Обживать и верить – всё повторится «как встарь», на новом витке истории:

*Иду в аптеку за полночь –
Шагов своих пугаюсь.
Проспекты обездвижили,
Погасли светофоры.
Вновь тяжело заболела ты.
Недуг привносит хаос.
Из трёх лекарств считалочка.
Не дозволюсь до скорой.*

Тривиальный поход за лекарством для любимой на глазах читателя развёртывается в масштабный путь духовных исканий, со всеми характерными признаками: острое чувство одиночества в атмосфере ночного города, «до ужаса пустого», неизменная рефлексия и очередная смена декораций – когда в привычном будничном интерьере, под влиянием эффекта внезапного *déjà vu*, обнаруживается портал в другое временное измерение: священник-провизор и чумное молчанье отсылают «от времени новейшего назад, к Средневековью».

Такое ретроспективное, масштабное видение мира позволяет автору ощущать свою причастность не только всем эпохам, но и всем формам жизни, начиная с микроорганизмов. Доброта и милосердие – отличительные черты лирического героя Григория Князева. Он хочет научиться понимать птичье наречие, хочет верить в то, что и у зверей есть свой собственный рай, куда они попадают по заслугам, имея прямое отношение к высшему, божьему, промыслу:

*Пусть люди судят: мол, звери – в рай,
Судьбы, мол, характера – нет,
Но глажу тёплую кошку свою
И вижу в глазах её свет.*

*Глаза её умным светом горят,
Мерцают, как твой изумруд.
Так жалко преданных милых зверят –
Неужто бесследно умрут?*

Таким же безграничным чувством милосердия пронизаны и детские стихи Григория. Впрочем, не совсем они и детские – в них поставлены всё те же неразрешимые вопросы бытия. Но особый взгляд на мир, где всё связано незримыми нитями родства, где каждый объект уникален и бесценен, свойствен именно ребёнку. Ему, несущему в своём сердце мудрость философа, гораздо легче интуитивно постичь взаимосвязь между человеком и бабочкой: их жизнь одинаково хрупка и обречена на угасание:

*Мы сами словно куколки,
Мы хрупкие тела.
Нас дома ждут родители,
Домашние дела.*

*Нас ждут ещё сто тысяч дней,
Ещё сто тысяч встреч.
Едва ль мы сможем краткий миг
С той бабочкой сбегать.*

Стоит ещё добавить, что главной причиной авторского беспокойства, которым пронизана вся книга, является осознание двойственной природы человека. С одной стороны, он причастен высшим мирам, способен слышать голос Бога, но с другой – подобно зверю, живёт в ограниченном пространстве собственного двора и дома, не испытывая потребности в духовной связи с окружающими:

*Неужели и мы – тушиковая ветвь?
Целых девять мозгов для чего осьминогам?
Век – с вещами на выход, с надеждой на свет –
На границе стоим между зверем и Богом...*

Задаваясь подобным онтологическим вопросом, автор заранее находит ответ на него: он верит в то, что всё не случайно, что в конечном итоге зверь, живущий в человеческой душе, будет побеждён желаниями высшего порядка:

*Если люди как звери, откуда у нас
Вера в то, что царит демиург или демон,
В сотни тысяч – пассивный словарный запас,
И на кладбище крест, точно плюсик, – зачем он?*